

Овцебык

Автор:

Николай Лесков

Овцебык

Николай Семёнович Лесков

Николай Лесков

Овцебык

Питается травой, а при недостатке ее и лишаями.

Из зоологии.

Глава первая

Когда я познакомился с Василием Петровичем, его уже звали «Овцебыком». Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Симашки. Ему было двадцать восемь лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего «верхнего этажа». Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а наперед от ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий

Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загинались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего смешного. Человек, который встречался с ним в первый раз, видел только, что Василий Петрович, как говорится, «плохо скроен, да крепко сшит», а взглядевшись в его карие, широко расставленные глаза, нельзя было не видеть в них здорового ума, воли и решительности. Характер Василия Петровича имел много оригинального. Отличительною его чертою была евангельская беззаботливость о себе. Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде и вдобавок еще рано осиротевший, он никогда не заботился не только о прочном улучшении своего существования, но даже никогда, кажется, не подумал о завтрашнем дне. Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность в каждом из людей, с которыми сходилась, а всех остальных обыкновенно называл кратко и ясно «свиньями». Когда у Василия Петровича не было сапогов, то есть если сапоги его, как он выражался, «совсем разевали рот», то он шел ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, если они ему кое-как всходили на ногу, а свои осметки оставлял вам на память. Дома ли вы или нет, Василию Петровичу это было все равно: он располагался у вас по-домашнему, брал, что ему нужно, всегда в возможно малом количестве, и иногда при встрече говорил, что он взял у вас табаку, или чаю, или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорил о таких мелочах. Новой литературы он терпеть не мог и читал только евангелие да древних классиков; о женщинах не мог слышать никакого разговора, почитал их всех поголовно дурами и очень серьезно жалел, что его старуха мать – женщина, а не какое-нибудь бесполое существо. Самоотвержение Василия Петровича не имело границ. Он никогда не показывал кому-нибудь из нас, что он кого-нибудь любит; но все очень хорошо знали, что нет жертвы, которой бы Овцебык не принес для каждого из своих присных и знакомых. В готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться, но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего Овцебыка. Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренно презирал их.

Разговоров Овцебык не любил, делал все молча, и делал именно то, чего вы в данную минуту менее всего могли от него ожидать.

Как и почему он сошелся с маленьким кружком, к которому принадлежал и я во время моего непродолжительного житья в нашем губернском городе, – я не

знаю. Овцебык года за три перед моим приездом окончил курс в курской семинарии. Мать, кормившая его крохами, собираемыми ради Христа, с нетерпением ждала, когда сын сделается попом и заживет на приходе с молодой женою. Но у сына и мысли не было о молодой жене. Жениться Василий Петрович не имел ни малейшего желания. Курс был окончен; мать все осведомлялась о невестах, а Василий Петрович молчал и в одно прекрасное утро исчез неизвестно куда. Только через полгода прислал он матери двадцать пять рублей и письмо, в котором уведомлял нищенствующую старуху, что он пришел в Казань и поступил в тамошнюю духовную академию. Как он дошел до Казани, отломав более тысячи верст, и каким образом достал двадцать пять рублей – это осталось неизвестным. Овцебык ни слова не написал об этом матери. Но не успела старуха порадоваться, что ее Вася будет когда-нибудь архиереем и она будет тогда жить у него в светлой комнатке с белой печкою и всякий день по два раза пить чай с изюмом, Вася как будто с неба упал – нежданно-негаданно снова явился в Курске. Много его расспрашивали: что такое? как? отчего он вернулся? но узнали немного. «Не поладил», – коротко отвечал Овцебык, и больше от него ничего не могли добиться. Только одному человеку он сказал немножко более: «Не хочу я быть монахом», а больше уж никто от него ничего не добился.

Человек, которому Овцебык сказал более, чем всем прочим, был Яков Челновский, добрый, хороший малый, неспособный обидеть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновский доводился мне родственником в каком-то далеком колене. У Челновского я и познакомился с коренастым героем моего рассказа.

Это было летом 1854 года. Мне нужно было хлопотать по процессу, производившемуся в курских присутственных местах.

В Курск я приехал в семь часов утра в мае месяце, прямо к Челновскому. Он в это время занимался приготовлением молодых людей в университет, давал уроки русского языка и истории в двух женских пансионах и жил не худо: имел порядочную квартиру в три комнаты с передней, изрядную библиотеку, мягкую мебель, несколько горшков экзотических растений и бульдога Бокса, с оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канкан.

Челновский чрезвычайно обрадовался моему приезду и взял с меня слово непременно остаться у него на все время моего пребывания в Курске. Сам он

обыкновенно бегал целый день по урокам, а я то навещал гражданскую палату, то бродил без цели около Тускари или Сейма. Первую из этих рек вы совсем не встретите на многих картах России, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще большую известность она приобрела через устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободив Сейма от репутации реки, «неудобной к судоходству».

Прошло недели две со дня приезда в Курск. Об Овцебыке никогда не заходило никакой речи, я и не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей черноземной полосы, изобилующей хлебом, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во втором пополудни. В передней меня встретил Бокс, стороживший наше жилище гораздо рачительнее, чем восемнадцатилетний мальчик, состоявший в должности нашего камердинера. На столе в зале лежал суконный картуз, истасканный донельзя; одна грязнейшая подтяжка с надвязанным на нее ремешком, просаленный черный платок, свитый жгутом, и тоненькая палочка из лесной орешины. Во второй комнате, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватую кабинетную мебелью, сидел на диване запыленный донельзя человек. На нем были ситцевая розовая рубашка и светло-желтые панталоны с протертыми коленями. Сапоги незнакомца были покрыты густым слоем белой шоссейной пыли, а на коленях у него лежала толстая книга, которую он читал, не нагиная головы. При входе моем в кабинет запыленная фигура бросила на меня один беглый взгляд и опять устремила глаза в книгу. В спальне все было в порядке. Полосатая холстинковая блуза Челновского, в которую он облачался тотчас по возвращении домой, висела на своем месте и свидетельствовала, что хозяина нет дома. Никак я не мог отгадать, кто этот странный гость, расположившийся так бесцеремонно. Свирепый Бокс смотрел на него как на своего человека и не ласкался только потому, что нежничанье, свойственное собакам французской породы, не в характере псов англо-саксонской собачьей расы. Прошел я опять в переднюю, имея две цели: во-первых, расспросить мальчика о госте, а во-вторых – вызвать своим появлением на какое-нибудь слово самого гостя. Мне не удалось ни то, ни другое. Передняя по-прежнему была пуста, а гость даже не поднял на меня глаз и спокойно сидел в том же положении, в котором я его застал пять минут назад. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться к самому гостю.

– Вы, верно, Якова Иваныча дожидаете? – спросил я, остановясь перед незнакомцем.

Гость лениво взглянул на меня, потом встал с дивана, плюнул сквозь зубы, как умеют плевать только великорусские мещане да семинаристы, и проговорил густым басом: «Нет».

– Кого же вам угодно видеть? – спросил я, удивленный странным ответом.

– Я просто так зашел, – отвечал гость, шагая по комнате и закручивая свои косицы.

– Позвольте же узнать, с кем я имею честь говорить?

При этом я назвал свою фамилию и сказал, что я родственник Якова Ивановича.

– А я так просто, – отвечал гость и опять взялся за свою книгу.

Тем разговор и покончился. Оставив всякую попытку разрешить для себя появление этой личности, я закурил папироску и лег с книгой в руках на свою постель. Когда придешь из-под солнечного припека в чистую и прохладную комнату, где нет докучных мух, а есть опрятная постель, необыкновенно легко засыпается. В этот раз я дознал это на опыте и не заметил, как книга выскользнула у меня из рук. Сквозь сладкий сон, которым спят люди, полные надежд и упований, я слышал, как Челновский читал мальчику нотацию, к которым тот давно привык и не обращал на них никакого внимания. Полное же мое пробуждение совершилось только, когда мой родственник вошел в кабинет и крикнул:

– А! Овцебык! Какими судьбами?

– Пришел, – ответил гость на оригинальное приветствие.

– Знаю, что пришел, да откуда же? где побывал?

– Отсюда не видать.

– Эко шут какой! А давно припожаловать изволил? – спросил снова своего гостя Яков Иванович, входя в спальню. – Э! да ты спишь, – сказал он, обращаясь ко мне. – Вставай, брат, я тебе зверя покажу.

– Какого зверя? – спросил я, еще не совсем возвратясь к тому, что называют бдением, от того, что называется сном.

Челновский ничего мне не ответил, но снял сюртук и накинул свою блузу, что было делом одной минуты, вышел в кабинет и, таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукою на упирившегося гостя, проговорил:

– Честь имею рекомендовать – Овцебык. Питается травою, а при недостатке ее может есть лишай.

Я встал и протянул руку Овцебыку, который в продолжение всей рекомендации спокойно смотрел на густую ветку сирени, закрывавшей отворенное окно нашей спальни.

– Я вам уже рекомендовался, – сказал я Овцебыку.

– Слышал я это, – отвечал Овцебык, – а я кутейник Василий Богословский.

– Как, рекомендовался? – спросил Яков Иванович. – Разве вы уже виделись?

– Да, я застал здесь Василья... я не имею чести знать, как по батюшке?

– Петров был, – отвечал Богословский.

– Это он был, а теперь зови его просто «Овцебык».

– Мне все равно, как ни зовите.

– Э, нет, брат! Ты Овцебык есть, так тебе Овцебыком и быть.

Сели за стол. Василий Петрович налил себе рюмку водки, вылил ее в рот, подержав несколько секунд за скулою, и, проглотив ее, значительным образом взглянул на стоящую пред ним тарелку супу.

– А студеню нет разве? – спросил он хозяина.

– Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого, – отвечал Челновский, – и не приготовили.

– Сами могли есть.

– Мы и суп можем есть.

– Соусники! – прибавил Овцебык. – И гуся нет? – спросил он с еще большим удивлением, когда подали зразы.

– И гуся нет, – отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой. – Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным салом.

– Завтра – не сегодня.

– Ну что ж делать? А ты, верно, давно не ел гуся?

Овцебык посмотрел на него пристально и с выражением какого-то удовольствия проговорил:

– А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь ел.

– Ну-у!

– Четвертого дня вечером калач в Севске съел.

– В Севске?

Овцебык утвердительно махнул рукой.

– А ты чего был в Севске?

– Проходом шел.

– Да где же это тебя носило?

Овцебык остановил вилку, которою таскал в рот огромные куски зраз, опять пристально посмотрел на Челновского и, не отвечая на его вопрос, сказал:

- Аль ты нынче табак нюхал?

- Как табак нюхал?

Челновский и я расхохотались странному вопросу.

- Так.

- Да говори, милый зверь!

- Что язык-то у тебя свербит нынче.

- Да как же не спросить? Ведь целый месяц пропадал.

- Пропадал? - повторил Овцебык. - Я, брат, не пропаду, а пропаду, так не задаром.

- Проповедничество нас заело! - отозвался ко мне Челновский. - «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищах и стогнах проповедовать в наш просвещенный век не дозволяется; в попы мы не можем идти, чтобы не прикоснуться жене, аки сосуду змеину, а в монахи идти тоже что-то мешает. Но уж что именно такое тут мешает - про то не знаю.

- И хорошо, что не знаешь.

- Отчего же хорошо? Чем больше знать, тем лучше.

- Поди сам в монахи, так и узнаешь.

- А ты не хочешь послужить человечеству своим опытом?

– Чужой опыт, брат, – пустое дело, – сказал оригинал, встав из-за стола и обтирая себе салфеткой целое лицо, покрывшееся потом от усердствования за обедом. Положив салфетку, он отправился в переднюю и достал там из своего пальто маленькую глиняную трубочку с черным обгрызанным чубучком и ситцевый кисетик; набил трубку, кисет положил в карман штанов и направился снова к передней.

– Кури здесь, – сказал ему Челновский.

– Расчихаетесь неравно. Головы заболят.

Овцебык стоял и улыбался. Я никогда не встречал человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось совершенно спокойным; ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось глубокое, грустное выражение, а между тем вы видели, что эти глаза смеются, и смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над самим собою и над своею недолею.

– Новый Диоген! – сказал Челновский вслед вышедшему Овцебыку, – все людей евангельских ищет.

Мы закурили сигары и, улегшись на своих кроватях, толковали о различных человеческих странностях, приходивших нам в голову по поводу странностей Василия Петровича. Через четверть часа вошел и Василий Петрович. Он поставил свою трубочку на пол у печки, сел в ногах у Челновского и, почесав правую рукою левое плечо, сказал вполголоса:

– Кондиций искал.

– Когда? – спросил его Челновский.

– Да вот теперь.

– У кого ж ты искал?

– По дороге.

Челновский опять засмеялся; но Овцебык не обращал на это никакого внимания.

- Ну, и что ж бог дал? – спросил его Челновский.

- Нет ни шиша.

- Да шутина ты этакой! Кто же ищет кондиций по дороге?

- Я заходил в помещичьи дома, там спрашивал, – серьезно продолжал Овцебык.

- Ну и что же?

- Не берут.

- Да, разумеется, и не возьмут.

Овцебык посмотрел на Челновского своим пристальным взглядом и тем же ровным тоном спросил:

- Почему же это и не возьмут?

- Потому, что с ветру пришлого человека, без рекомендации, не берут в дом.

- Я аттестат показывал.

- А в нем написано: «поведения довольно изрядного»?

- Ну так что ж? Я, брат, скажу тебе, что это все не оттого, а оттого что...

- Ты – Овцебык, – подсказал Челновский.

- Да, Овцебык, пожалуй.

- Что ж ты теперь думаешь делать?

- Думаю вот еще трубочку покурить, - отвечал Василий Петрович, вставая и снова принимаясь за свой чубучок.

- Да кури здесь.

- Не надо.

- Кури: ведь окно открыто.

- Не надо.

- Да что тебе, первый раз, что ли, курить у меня свой дюбек?

- Им будет неприятно, - сказал Овцебык, показывая на меня.

- Пожалуйста, курите, Василий Петрович; я - человек привыкший; для меня ни один дюбек ничего не значит.

- Да ведь у меня тот дюбек, от которого черт ушел, - отвечал Овцебык, налегая на букву у в слове дубе к, и в его добрых глазах опять мелькнула его симпатическая улыбка.

- Ну, а я не убегу.

- Значит, вы сильнее черта.

- На этот случай.

- Он о силе черта имеет самое высокое мнение, - сказал Челновский.

- Одна баба, брат, только злей черта.

Василий Петрович напихал махоркою свою трубочку и, выпустив из рта тоненькую струйку едкого дыма, осадил пальцем горящий табак и сказал:

- Задачки стану переписывать.

- Какие задачки? – спросил Челновский, приставляя ладонь к своему уху.
- Задачки, задачки семинарские стану, мол, пока переписывать. Ну, тетрадки ученические, не понимаешь, что ли? – пояснил он.
- Понимаю теперь. Плохая, брат, работа.
- Все равно.
- Два целковых в месяц как раз заработаешь.
- Это мне все едино.
- Ну, а дальше что?
- Кондиции мне отыщи.
- Опять в деревню?
- В деревню лучше.
- И опять через неделю уйдешь. Ты знаешь, что он сделал прошлой весной, – сказал, обращаясь ко мне, Челновский. – Поставил я его на место, сто двадцать рублей в год платы, на всем готовом, с тем чтобы он приготовил ко второму классу гимназии одного мальчика. Справили ему все, что нужно, снарядили доброго молодца. Ну, думаю, на месте наш Овцебык! А он через месяц опять перед нами как вырос. Еще за свою науку и белье там оставил.
- Ну так что же, если нельзя было иначе, – сказал, нахмурясь, Овцебык и встал со стула.
- А спроси его, отчего нельзя? – сказал Челновский, снова обращаясь ко мне. – Оттого, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили.
- Еще соври! – пробормотал Овцебык.

– Ну, а как же было?

– Так было, что иначе нельзя было.

Овцебык остановился передо мною и, подумав с минутку, сказал:

– Вовсе особое дело было!

– Садитесь, Василий Петрович, – сказал я, подвигаясь на кровати.

– Нет, не надо. Вовсе особое дело, – начал он снова. – Мальчишке пятнадцатый год, а между тем уж он совсем дворянин, то есть бесстыжая шельма.

– Вот у нас как! – пошутил Челновский.

– Да, – продолжал Овцебык. – Повар у них был Егор, молодой парень. Женился он, взял дьячковскую дочь из нашего духовенного нищенства. Барчонок уж всему был обучен, и давай к ней лязгаться. А бабенка молодая, не из таковских; пожаловалась мужу, а муж – барыне. Та там что-то поговорила сыну, а он опять за свое. Так в другой раз, в третий – повар опять к барыне, что жене отбою нет от барчука, – опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте, – говорю ему, – если вы еще раз защипнете Аленку, так я вас тресну». Покраснел от досады; взыграла благородная кровь, знаете; полетел к мамаше, а я за ним. Гляжу: она сидит в креслах, и тоже вся красная; а сын по-французски ей жалобу на меня расписывает. Как увидела меня, сейчас взяла его за руку и улыбается, черт знает чего. «Полно, говорит, мой друг. Василью Петровичу, верно, что-нибудь показалось; он шутит, и ты докажешь ему, что он ошибается». А сама, вижу, косится на меня. Малец мой пошел, а она, вместо того чтобы поговорить со мною о сыне, говорит: «Какой вы рыцарь, Василий Петрович! Уж не сердечная ли у вас зазнобушка?» Ну, а я этих вещей терпеть не могу, – сказал Овцебык, энергически махнув рукою. – Не могу я этого слушать, – повторил он еще раз, возвысив голос, и снова зашагал.

– Ну, вы тут же и оставили этот дом?

– Нет, через полтора месяца.

– И жили в ладу?

– Ну, я ни с кем не говорил.

– А за столом?

– Я с конторщиком обедал.

– Как с конторщиком?

– Просто сказать, на застольной. Да это мне ничего. Меня ведь обидеть нельзя.

– Как нельзя?

– А разумеется, нельзя... ну, да что об этом толковать... Только сижу я раз после обеда под окном, Тацита читаю, а в людской, слышу, кто-то кричит. Что кричит – не разберу, а голос Аленкин. Барчук, думаю, верно забавляется. Встал, подхожу к людской. Слышу, Аленка плачет и сквозь слезы кричит: «стыдно вам», «бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Аленка стоит на чердаке над приставной лестницей, а малец мой под лестницей, так что бабе никак нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, как они ходят... просто. А он еще ее поддразнивает: «лезь, говорит, а то отставлю лестницу». Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрещину.

– Такую, что у него из уха и из носа кровь хлынула, – засмеявшись, подсказал Челновский.

– Какая там на его долю выросла.

– Что же вам мать?

– Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.

– Сколько же это верст?

– Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле все равно, сколько верст ни пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображениям, затрещину эту дать следует.

Глава вторая

Начался знойный июнь. Василий Петрович являлся к нам аккуратно всякий день часов в двенадцать, снимал свой коленкоровый галстук, подтяжки и, сказав обоим нам «здравствуйте», усаживался за своих классиков. Так проходило время до обеда; после же обеда он закуривал трубочку и, став у окна, обыкновенно спрашивал: «что ж, кондиций?» Прошел месяц с того дня, как Овцебык каждый день повторял этот вопрос Челновскому, и целый месяц всякий раз слышал один и тот же самый неутешительный ответ. Места даже и в виду не было. Василия Петровича, по-видимому, это, однако, нисколько не обходило. Он кушал с прекрасным аппетитом и был постоянно в своем неизменном настроении духа. Только раз или два я видел его раздраженнее обыкновенного; но и эта раздражительность не имела никакого соотношения с положением дел Василия Петровича. Она происходила от двух совершенно сторонних обстоятельств. Раз он встретился с бабой, которая рыдала впричет, и спросил ее своим басом: «Чего, дура, ревешь?» Баба сначала испугалась, а потом рассказала, что у нее изловили сына и завтра ведут его в рекрутский прием. Василий Петрович вспомнил, что делопроизводитель в рекрутском присутствии был его товарищем по семинарии, сходил к нему рано утром и возвратился необыкновенно расстроенным. Ходатайство его оказалось несостоятельным. В другой раз партию малолетних еврейских рекрутиков перегоняли через город. В ту пору наборы были частые. Василий Петрович, закусив верхнюю губу и подперши фертом руки, стоял под окном и внимательно смотрел на обоз провозимых рекрут. Обывательские подводы медленно тянулись; телеги, прыгая по губернской мостовой из стороны в сторону, качали головки детей, одетых в серые шинели из солдатского сукна. Большие серые шапки, надвигаясь им на глаза, придавали ужасно печальный вид красивым личикам и умным глазенкам, с тоскою и вместе с детским любопытством смотревшим на новый город и на толпы мещанских мальчишек, бежавших вприпрыжку за телегами. Сзади шли две кухарки.

– Тоже, чай, матери где-нибудь есть? – сказала, поровнявшись с нашим окном, одна рослая рябая кухарка.

– Гляди, может и есть, – отвечала другая, запустив локти под рукава и скребя ногтями свои руки.

– И ведь им небось, хоть и жиденята, а жалко их?

– Да ведь что ж, матка, делать!

– Разумеется, а только по материнству-то?

– Да, по материнству, – конечно... своя утроба... А нельзя...

– Конечно.

– Дуры! – крикнул им Василий Петрович.

Женщины остановились, взглянули на него с удивлением, обе враз оказались: «Чего, гладкий пес, лаешься», и пошли дальше.

Мне захотелось пойти посмотреть, как будут ссаживать этих несчастных детей у гарнизонной казармы.

– Пойдемте, Василий Петрович, к казармам, – позвал я Богословского.

– Зачем?

– Посмотрим, что там с ними будут делать.

Василий Петрович ничего не отвечал; но когда я взялся за шляпу; он тоже встал и пошел вместе со мною. Гарнизонные казармы, куда привезли переходящую партию еврейских рекрутиков, были от нас довольно далеко. Когда мы подошли, телеги уже были пусты и дети стояли правильной шеренгой в два ряда. Партионный офицер с унтер-офицером делал им проверку. Вокруг шеренги толпились зрители. Около одной телеги тоже стояло несколько дам и священник с бронзовым крестом на владимирской ленте. Мы подошли к этой телеге. На ней сидел один больной мальчик лет девяти и жадно ел пирог с творогом; другой лежал, укрывшись шинелью, и не обращал ни на что внимания; по его

раскрасневшемуся лицу и по глазам, горевшим болезненным светом, можно было полагать, что у него лихорадка, а может быть тиф.

- Ты болен? - спросила одна дама мальчика, глотавшего куски непережеванного пирога.

- А?

- Болен ты?

Мальчик замотал головой.

- Ты не болен? - опять спросила дама.

Мальчик снова замотал головой.

- Он не контран-па - не понимает, - заметил священник и сейчас же сам спросил: - Ты уж крещеный?

Ребенок задумался, как бы припоминая что-то знакомое в сделанном ему вопросе, и, опять махнув головой, сказал: «Не, не».

- Какой хорошенький! - проговорила дама, взяв ребенка за подбородок и приподняв кверху его милостивое личико с черными глазками.

- Где твоя мать? - неожиданно спросил Овцебык, дернув слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василия Петровича, потом на окружающих, потом на ундера и опять на Василия Петровича.

- Мать, мать где? - повторил Овцебык.

- Мама?

- Да, мама, мама?

- Мама... - ребенок махнул рукой вдаль.

- Дома?

Рекрут подумал и кивнул головою в знак согласия.

- Памятует еще, - вставил священник и спросил: - Брудеры есть?

Дитя сделало едва заметный отрицательный знак.

- Врешь, врешь, один не берут в рекрут. Врать ниht гут, нейн, - продолжал священник, думая употреблением именительных падежей придать более понятности своему разговору.

- Я бродягес, - проговорил мальчик.

- Что-о?

- Бродягес, - яснее высказал ребенок.

- А, бродягес! Это по-русски значит - он бродяга, за бродяжество отдан! читал я этот закон о них, о еврейских младенцах, читал... Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: оседлый сиди дома, а бродяжке все равно бродить, и он примет святое крещение, и исправится, и в люди выйдет, - говорил священник; а тем временем переключка окончилась, и ундер, взяв под уздцы лошадь, дернул телегу с больными к казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползли малолетние рекруты, тянувшие за собою сумочки и полы неуклюжих шинелей. Я стал искать глазами моего Овцебыка; но его не было. Не было его и к ночи, и на другой, и на третий день к обеду. Послали мальчика на квартиру Василия Петровича, где он жил с семинаристами, - и там его не бывало. Маленькие семинаристки, с которыми жил Овцебык, давно привыкли не видать Василия Петровича по целым неделям и не обращали никакого внимания на его исчезновение. Челновский тоже нимало не беспокоился.

- Придет, - говорил он, - бродит где-нибудь или спит во ржи, и ничего больше.

Нужно знать, что Василий Петрович, по собственному его выражению, очень любил «логовища», и логовищ этих у него было довольно много. Кровать с голыми досками, стоявшая на его квартире, никогда долго не покоила его тела. Только изредка, заходя домой, он улаживался на нее, делал мальчикам неожиданный экзамен с каким-нибудь курьезным вопросом в конце каждого испытания, и затем кровать эта опять стояла пустою. У нас он спал редко, и обыкновенно или на крыльце, или если с вечера заходил горячий разговор, не законченный к ночи, то Овцебык ложился на полу между нашими кроватями, не позволяя себе подостлать ничего, кроме реденького половика. Утром рано он уходил или в поле, или на кладбище. На кладбище он бывал всякий день. Придет, бывало, уляжется на зеленой могиле, разложит перед собою книгу какого-нибудь латинского писателя и читает, а то свернет книгу, подложит ее под голову да смотрит на небо.

– Вы – жилец могил, Василий Петрович! – говорили ему знакомые Челновского барышни.

– Глупости говорите, – отвечал Василий Петрович.

– Вы – упырь, – говорил ему бледный уездный учитель, прослывший за литератора с тех пор, как в губернских ведомостях напечатали его ученую статью.

– Глупости сочиняете, – отвечал Овцебык и ему и опять отправлялся к своим покойникам.

Чудачества Василия Петровича приучили весь небольшой кружок его знакомых не удивляться ни одной его выходке, а потому никто и не удивился его быстрому и неожиданному исчезновению. Но он должен же был возвратиться. Никто и не сомневался, что он возвратится: вопрос был только в том, куда он скрылся? где он скитается? что его так раздражало и чем он врачует себя от этих раздражений? – это были вопросы, разрешение которых представляло для моей скуки довольно большой интерес.

Глава третья

Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и щедрая природа наша жила полною своею жизнью. Было новолуние. После жаркого дня наступила светлая, роскошная ночь. В такие ночи курские жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловьи свищут им напролет целые ночи, а они напролет целые ночи их слушают в своем большом и густом городском саду. Все, бывало, ходят тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учителя жарко спорят «о чувствах высокого и прекрасного» или о «дилетантизме в науке». Жарки бывали эти громкие споры. Даже в самые отдаленные куртины старого сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!», «позвольте!», «а priori рассуждать нельзя», «идите индуктивным способом» и т. п. Тогда у нас еще спорили о подобных предметах. Теперь таких споров не слышно. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни». Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, с которым я жил в Курске в эпоху моего рассказа. Вопросы, занимающие нас теперь, тогда еще не поднимались, и во множестве голов свободно и властно господствовал романтизм, господствовал, не предчувствуя приближения новых направлений, которые заявят свои права на русского человека и которые русский человек, известного развития, примет, как он принимает все, то есть не совсем искренно, но горячо, с аффектацией и с пересолом. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствах высокого и прекрасного, а женщины любили идеальных героев, слушали соловьев, свиставших в густых кустах цветущей сирени, и всласть заслушивались турухтанов, таскавших их под руку по темным аллеям и разрешавших с ними мудрые задачи святой любви.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/nikolay-leskov/ovcebyk>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)